

— Теперь вас снова печатает «Юность». На следующий год анонсирован «Остров Крым». Но ведь там есть слова и сцены, которые с трудом можно представить напечатанными в советском журнале.

— Мы несколько подработали его совместно с «Юностью».

— А это не уступка с вашей стороны?

— В некотором смысле уступка. Но я ведь не догматик и понимаю, что трех с половиной миллионного журнала может предъявлять такого рода требования и пожелания. Мы работали довольно продуктивно. В некоторых местах есть потери, а в некоторых местах, мне кажется, стало даже изящней.

— Как вы видите дальнейшее проникновение в русскую литературу того, что характерно для американской: сленг, брань, эротика?

— Я считаю, что это табу с серьезной литературой должно быть снято. Не надо этого бояться... Русская литература всегда была пуританской. И даже в «серебряном» веке была некая неуклюжесть в этом отношении. Я думаю, это надо развивать. Но, кстати, в Америке, например, на телевидении вы не увидите обнаженного женского тела. Увидите во французском. В американском кино вы услышите кучу браны и крепких выражений, но на телевидении — никогда.

— Кардинальный для художника вопрос — его отношение с властью. В ваших романах есть портреты советских политических деятелей. Они написаны с натуры?

— Да, конечно. Я когда здесь жил, смотрел ужасающую по тем временам программу «Время». (Не знаю, как она сейчас выглядит, мне не удалось ее посмотреть). Я внимательнейшим образом вглядывался в лица членов Политбюро. И это для меня, разумеется, было очень серьезным материалом. В «Острове Крым» есть сцена заседания секретариата, где участвуют три человека: Пренеприятнейший, Окающий и еще один. Имеются в виду определенные лица: Суслов, Косягин и Кирилленко.

— А сейчас что вы смотрите?

— В моем доме висит снимок, где мы с Рональдом Рейганом сидим за столом в Белом Доме. И он так внимательно на меня смотрит, а я ему что-то объясняю. Когда спрашивают, что происходит, я объясняю, что это семинар по Гоголю в Белом Доме... На самом же деле Рейган перед первой встречей в верхах собирали русских литературных и политических деятелей эмиграции, конечно, чтобы поговорить с ними, узнать их мнение.

Я специально не ищу этих встреч, но они постоянны. К тому же это своего рода телевизионные звезды, и они всегда на экране. А живя в Вашингтоне, так или иначе сталкиваешься с разного рода политическими деятелями.

— Говорили, что вы работаете с помощью компьютера. Многие считают, что это «не чистая работа» для писателя.

— Я никогда не начинаю писать на компьютере. На компьютер я перехожу во второй фазе. А пишу по старинке — на бумажке ручкой. Потом, когда вожусь с текстом, меняя фразу, расположение фраз — компьютер очень помогает. Удобно.

— Маркес говорит, что обучил свой компьютер писать, как Маркес, тот усвоил его приемы, и теперь можно создать куда больше книг.

— Да, есть люди, которые очень любят пользоваться компьютером и просто влюбляются в него. Возникает уже общение с компьютером. Я считаю, что это ерунда. Для меня компьютер — подсобное средство. Удобная штука, с помощью которой легче работать.

— «Литературная общественность» Москвы еще до вашего приезда с наслаждением произносила сумму вашего жалования. Что для писателя богатство?

— Независимость. Мне самому немного надо. Да и к тому же в Америке возможна жизнь без денег: подо что-то. Тот же дом, который мы купили, мы можем давать в залог. «Деревенки заложены и перезаложены» — там большинство так живет.

— Вы сказали, что жизнь в Америке дала вам некую космополитичность ощущений.

— Это касается прежде всего образа жизни в Америке. Что для меня, когда я жил в Москве, был китаец? Косоглазый какой-то человечек, которого не понимаешь и ничего, кроме отчуждения, не испытываешь. А в Америке китаец — это неотъемлемый член американского общества. Вообразить себе американское общество без китайского повара, китайской кухни просто невозможно. Мы все едим в китайских ресторанах. Это самая вкусная и дешевая еда. Но китаец не только повар, китаец — замечательный архитектор, китаец — твой студент. В моем семинаре обязательно есть китаец, кореец, вьетнамец, поляк. Хотя я православный, но люблюходить в католический собор, где сидят поляки, чехи, филиппинцы, ирландцы — все вместе. Там есть такой момент, когда все поворачиваются друг к другу и жмут руки. И это здорово, когда ты соединяешься в этом рукопожатии. Вдруг образуется человеческая молекула. И я очень это ценю.

Такая жизнь дает многое. Она дает ощущение человечества, как одной семьи. Даже самый экзотический тип оборачивается к тебе своей человеческой стороной. В такой космополитической стране, как Соединенные Штаты, которые яро ненавидят общество «Память», всякая гомогенность рассеивается. Во многих странах она еще существует. «Прогрессивная Франция», «прогрессивная Норвегия», «прогрессивная Россия»... В Америке же все это «закручивается», создается новый этнос, новое человеческое общество — модель будущего человечества. Будущее человечество утратит национальные границы. В отдаленном будущем, в перспективе, несмотря ни на что, возникает космополитическое человечество.

— Я слышал от многих, что Америка — это страна замкнутых людей. И вы, по-моему, тоже замкнуты. Может быть, поэтому себя так там хорошо чувствуете?

— МОЖЕТ БЫТЬ. Но я таким стал здесь. А в молодости я был раскован. Сейчас, пожалуй, более сдержан. Стараюсь не быть сентиментальным, стараюсь не «выплескиваться».

— Но некая сентиментальность, мне представлялась, свойственна англоязычной литературе...

— Нет, как раз именно английский язык и отжимает эту славянскую влагу. Например, мы проходили со студентами «Москва — Петушки» (это гениальная, замечательная вещь, хотя мне в ней не все нравится и именно из-за слюнности) в потрясающем английском переводе, где отжата вся влага и слизь. Вот таково свойство перевода, свойство языка.

— Но вы ведь язык и здесь хорошо знали...

— Не очень хорошо. Накапливалось с каждым годом, это уже был неизбежный процесс. И все-таки я и сейчас все время ныряю в словари. Но все равно студенты знают, что профессор ошибки делает.

— Вы в свое время написали в соавторстве лихой роман «Джим Грин Неприкасаемый», показав тонкое знание американского образа жизни...

— Главным человеком там был не я. И это сугубо литературная игра. Помню, тогда, приехав году в 67-м из-за границы, я рассказывал о фильме про Джеймса Бонда «Живешь только дважды»... Мы тогда выпивали очень основательно и решили: нам надо сделать советского Джеймса Бонда. Надо захватить внимание публики, пусть все только и говорят о Джеймсе Бонде. И вот придумали такого Джима Грина. Поехали в Ялту и там развлекались, сидя на терраске и любуясь замечательными пейзажами вокруг и на столове...

— Вы, я вижу, симпатизируете «острову»?

— Да, природа создала его в пропорциях, мне симпатичных. Так мы развлекались месяца три. В конце концов стали звереть от этого и ненавидеть друг друга. Кончились это дракой на борту теплохода «Грузия».

— Ну а «Бочкотара»?

— Бочкотара, я понял, вчера в этой стране. Но и в Америке есть своя бочкотара. Я писал об этом в каком-то своем очерке, описывая впечатление от островов в Карибском море. Меня поразило — рязанщина в Карибском море со своей бочкотарой.

— Как вам сейчас представляется путь вашних произведений?

— В первых вещах было очарование жизни. Потом прибавлялись моменты разочарования. Вторичного очарования. И так далее. Пунктуация этих очарований и разочарований обнажается все больше с возрастом.

— А как насчет возрастного консерватизма? При вашей авангардности, по-моему, это очень актуальный вопрос.

— Я пока не ощущаю своего возраста — вот в чем дело. Как-то трудно представить себе, что через три года мне будет 60. Я пока не чувствую себя старым. Но, возможно, скоро начну это чувствовать. И это будет какой-то другой возраст с его недостатками и преимуществами. Может быть, я впаду в абсолютнейший маразм...

— А юмор не пропадает?

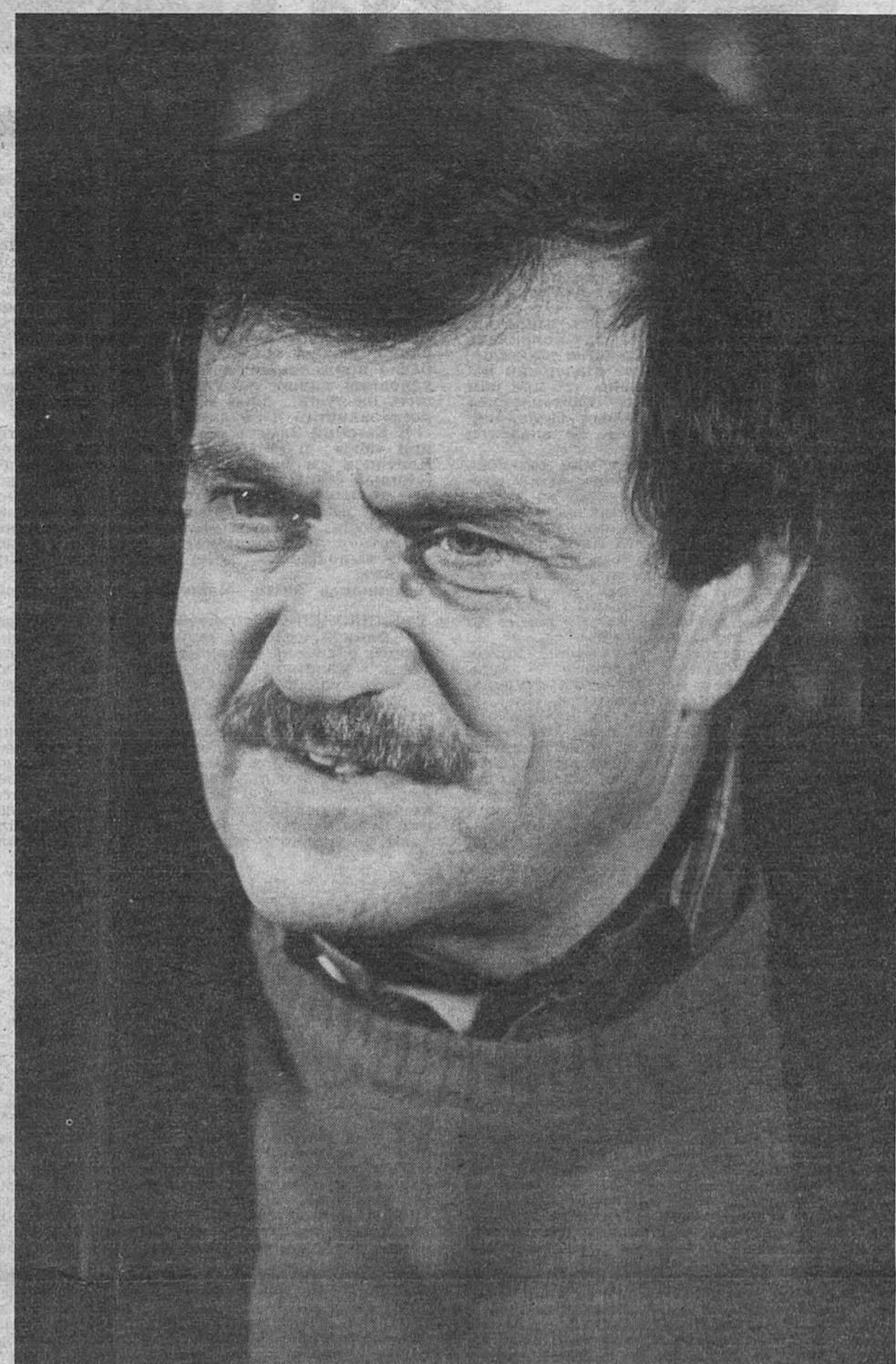
— НЕ ЗАМЕЧАЛ за собой такого. Наоборот, мне все говорят: перестань ехидничать. Мой юмор принимают за ехидство.

— Говорят, Аксенов теперь не пьет и не курит.

— Почему? И пью, и курю. Только в других объемах.

— А зачем, собственно, пить?

— Мужики говорят: «Час без горя». Бутылка — что час без горя. Но это одна бутылка. А что касается писательского пьяниства, то оно во многом от того тоже. И от попытки преодолеть дикую скованность сталинского детдома. Мы все, невзирая на судьбы наших родителей, — даже в генеральских домах, — были детьми детдома. Мы были скованы, мы не могли разговаривать по-человечески, у нас были ужасные манеры. И в конце 50-х, начале 60-х годов мы пытались освободиться от этой скованности при помощи алкоголя. Перед нами раскрылась новая жизнь с очарованиями. К тому же появился Ремарк с культом пьянства, и Хемингуэй с



С писателем Василием АКСЕНОВЫМ беседует Иван ПОДШИВАЛОВ

— Насколько вы сами соответствуете своим произведениям?

— Раньше весьма соответствовал. Теперь намеренно стараюсь отдалиться, заставляю себя отдалиться от персонажа. Иногда искусственным способом.

— Насколько писатель Евгения Гинзбурга повлияла на писателя Василия Аксенова?

— КОГДА мы встретились с матерью, мне было 16 лет. Это был поворотный пункт для меня как личности. И она, кстати, пишет о том, что была несколько удивлена — этот провинциальный мальчик все-таки был человеком, который увлекался стихами и знал, в определенной степени, современную литературу. Но, в общем-то, именно она мне открыла мир запретной и закрытой литературы, открыла просто благодаря своей исключительной памяти и любви к поэзии. Когда мы встретились, она мне часами читала на память стихи Гумилева, Ахматовой, Северянину. Мандельштама она почему-то мало знала, а Пастернака обожала...

Мой вкус формировался в то время под влиянием матери. И в дальнейшем, когда мы с ней уже были здесь, в Москве, она писала свою книгу, то она не всегда была довольна моим писательским развитием. Скажем, «Ожог» ей резко не нравился. Она была даже потрясена как-то, когда прочла. Этот роман возмутил ее. Только потом уже, когда мы с ней на эту тему обсуждали, она стала, кажется, немножко понимать, что я хотел сказать.

— Вы ездили в Казань к отцу. Что сказал он вам при встрече?

— Он сказал: «Как я счастлив, что ты приехал». А то я уже думал, что умру и тебя не увижу». Потом спросил: «Сколько лет-то тебе сейчас, сынок?». «Как всегда, 36», — ответил я.

Фото Льва МЕЛИХОВА.